PG3476
.G689
V8
1922

ЛЕОНИД ГРОССМАН

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00009022256

ВТОРНИК У КАРОЛИНЫ ПАВЛОВОЙ

СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ МОСКОВСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ САЛОНОВ 40-х ГОДОВ

Т-во „КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ“
1922

ВТОРНИК У КАРОЛИНЫ ПАВЛОВОЙ

ee
c
PG3476
.G689
V8
1922

ЛЕОНИД ГРОССМАН

ВТОРНИК У КАРОЛИНЫ ПАВЛОВОЙ

СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ МОСКОВСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ САЛОНОВ 40-Х ГОДОВ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

VTORNIK U KAROLINY PAVLOVOI

Т-во „КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ
ВЪ МОСКВЕ“
1922

Отпечатано в типографии „Книгоиздательства Писателей в Москве“ в количестве 2000 экз.
Р.В.Ц. Москва № 1138.

ОТ АВТОРА.

В этих сценах сделана попытка изобразить в диалогической форме один из моментов в истории русских идей прошлого столетия. Значительная часть речей главных героев этих сцен была действительно произнесена или записана ими. Их собственные сочинения и письма, мемуары близких лиц, дневники, современные журналы и газеты были использованы нами в целях возможно точного драматизирования духовной среды московского литературного салона 40-х годов. Некоторые позднейшие работы и исследования, среди которых приходится с особенной признательностью отметить книги М. О. Гершензона, продолжали сообщать необходимый материал и регулировать основную работу разысканий и реставрации.

Нам показалось формально удобным сгруппировать главных идейных вождей этой эпохи вокруг грустного образа одной незаслуженно осмеянной при жизни и недостаточно оцененной по смерти русской поэтессы.

ЛИЦА:

Николай Филиппович Павлов, литератор.

Каролина Карловна, его жена.

Франц Лист, молодой венгерский композитор.

Александр Тургенев
Чаадаев
Герцен
Хомяков
Константин Аксаков
Иван Аксаков
Юрий Самарин
Иван Киреевский
Кетчер
— литераторы и ученые.

Грановский
Погодин
Шевырев
— профессора московского университета.

Фет
Полонский
— Студенты московского университета.

Наталия Петровна Киреевская.

Лидия Кек.

Евгения Александровна Танненберг (Дженни), кузина Каролины Карловны, компаньонка.

Гостинная в доме Павловых на Сретенском бульваре. Раскрытые окна заставлены пестрыми стеклянными ширмами фабрики Орлова. В углу на крошечном столике ваза с букетом живых роз. В другом углу чайный стол. На камине бронзовая группа Сантина Кампиони. Между колоннами, на мраморном постаменте большие бронзовые часы с башенным боем. Перед маленьким письменным столом, заставленным портретами, альбомами и книгами, высокое готическое кресло на особо устроенном возвышении. Двери на балкон широко раскрыты.

Действие происходит 4 мая 1843 года

Дженни Танненберг хлопочет за чайным столом. Входит Шевырев.

Шевырев. — Здравствуйте, Евгения Александровна. Надеюсь, господа Павловы уже принимают?

Дженни. — Вас, конечно, Степан Петрович. Николай Филиппович, правда, еще не вернулся, но Королина Карловна сейчас выйдет.

Шевырев. — Господи, какой у вас озабоченный вид! Чем вы это так заняты за вашим столиком?

Дженни. — Приготовлениями к чаю. Сегодня ожидается много народу. Вероятно будет Лист.

Шевырев. — Лист? Но ведь сегодня он на обеде у Голицына.

Дженни. — А с обеда приедет к нам. Я так рада, Степан Петрович, вы не можете себе представить. Вы подумайте, пожать руку самому Листу!

Шевырев. — Вам пора бы привыкнуть к знаменитостям в этой гостиной.

Дженни. — Но все же не к таким, как Лист. Говорят, он так чудесно исполняет „Erlkoenig“.

Шевырев. — О, чудесно! *(Смотрит на часы).* А Николай Филиппович так поздно засиживается у себя в комитете?

Дженни. — Правду сказать, нет. Но у Николая Филипповича вышло с Каролиной Карловной маленькое объяснение и...

Шевырев. — И в результате он бежал из дому?

Дженни. — Да... то-есть не совсем. К вечеру нужно было кое-что приготовить. Вы знаете, как он хлопочет о закуске.

Шевырев. — А бедная Каролина Карловна удалилась горевать в одиночестве?

Дженни. — О, если бы вы знали, что тут произошло! Каролина Карловна была сегодня у Аксаковых, и Ольга Семеновна жаловалась ей, что семейство их идет к разорению и гибели, что Сергей Тимофеевич проигрывает громадные деньги, и виной всему Николай Филиппович, который будто бы завел у них крупную игру и теперь постоянно обыгрывает старика. Это ужасно—такое обвинение!

Шевырев. — Что ж, Николай Филиппович отрицает свою вину?

Дженни. — Конечно, но вышло еще хуже. Чтоб оправдаться, он показал все свои карточные записи — он ведет регистр проигрышам и выигрышам,— и оказалось, что он за последнее время проиграл громадные суммы, что-то, кажется, около сорока тысяч. Каролина Карловна пришла в ужас — не столько за себя, сколько за будущность бедного Полиньки.

Шевырев. — У Ипполита вообще тяжелая будущность: onerat celeberima natum mater!

Дженни. — Что это значит?

Шевырев. — А то, что нет ничего тягостнее, чем быть безвестным сыном знаменитой матери. Впрочем, извиняюсь, кажется, еще хуже приходить на прием, когда хозяева не в духе. Не лучше ли мне заблаговременно удалиться, а?

Дженни. — О, конечно нет! Вы ведь знаете Николая Филипповича. Он так быстро успокаивается и так умеет не выказывать своего настроения. Он мне говорил недавно, что ему тягостно подчас в обществе Каролины Карловны из-за вечных упреков, что невольно он начинает искать другой

дружбы, других привязанностей, — однако, он этого никому не показывает.

Шевырев. — Это он все говорил вам, Евгения Александровна?

Дженни. — Ну да, что ж тут плохого? Я пишу теперь его портрет, и во время сеансов позы мы много беседуем. Он ко мне относится, как к другу. И я сама дружески привязана к нему. Это такой веселый и обходительный человек!

Шевырев. — Смотрите, Евгения Александровна, не обожгитесь на вашей дружбе.

Дженни. — Бог с вами, Степан Петрович! Я слишком высоко ставлю наши дружеские отношения. Разве это не честь быть другом такого знаменитого писателя? Как подробно описывают в биографиях Гёте и Шиллера всех их приятелей. Вы не можете себе представить, как я радуюсь иногда при мысли, что займу хоть небольшое местечко в будущей биографии Николая Павлова.

Шевырев. — Смотрите, как бы это местечко а лось слишком заметным.

Дженни. — О, разве нужно бояться дружбы? Wenn der grosse Wurf gelungen eines Freundes Freund zu sein... Да, я считаю его своим истинным другом. Вы знаете, он подарил мне свои новые повести с надписью: „Дорогой маленькой Дженни от непонятого“... Однако, что это я вас занимаю разговорами! Вероятно, Каролине Карловне не доложиле о вас. (*Она идет к дверям и возвращается*). Только... У меня к вам просьба, Степан Петрович...

Шевырев. — Именно?

Дженни. — Ни слова Каролине Карловне о том, что я вам говорила.

Шевырев. — Ну, разумеется. Могли и не просить.

Дженни. — Так я сейчас попрошу сюда Каролину Карловну. (*Уходит*).

Шевырев (*смотрит ей вслед*). — Однако, Николай Павлов в роли русского Гёте, — о, святая простота остзейских немочек! (*Он подходит к письменному столу, берет маленький кипсек и перелистывает его*). А в общем, кажется, не все благополучно в датском королевстве.

Входит Каролина

Каролина. — Здравствуйте, дорогой друг. Я так рада, что еще никого нет, и мы сможем побеседовать с вами.

Шевырев. — У вас сегодня большой день, Каролина Карловна. Говорят, будет Лист?

Каролина. — Если обед у Голицыных не затянется. Но и помимо Листа предстоит интересное развлечение. Александр Иванович обещал прочесть отрывки из мемуаров Шатобриана, которые при жизни его не будут опубликованы.

Шевырев. — Вечно у этого Тургенева какое-нибудь рукописное сокровище! *(Кладет кипсек на письменный стол).* Ну, а что слышно в области ваших манускриптов, Каролина Карловна?

Каролина. — Да все попрежнему: „в тиши свершаю скромный труд"...

Шевырев. — Что ж так мало печатаете? *Москвитянин* стосковался по вашим переводам. Вам так удались баллады Вальтер-Скотта: „Красив Бригнала брег крутой, и зелен лес кругом"...

Каролина. — Нет, Вальтер-Скотта я оставила. Хочу испробовать силы на чем-нибудь своем и ответственном. Покаюсь перед вами в гордыне, Степан Петрович, пишу поэму и обдумываю роман.

Шевырев. — О, в добрый путь! Вы перещеголяете мадам де-Сталь. Кажется, все мы, журналисты, будем скоро завидовать вам.

Каролина. — Завидовать нечему, дорогой Степан Петрович. Верьте мне, вам сознаюсь, как другу, у меня в жизни немного радостей.

Шевырев. — Не ропщите на свою участь, Каролина Карловна. Вы сумели создать в Москве интереснейший дом. Вы сосредоточиваете около себя все, что есть просвещенного; путешественник или кто другой из людей любопытных — его непременно встретишь у вас; куча книг, музыкальные вечера, образованные обеды, все журналы...

Каролина. — Мне все больше хотелось бы тишины во внешней жизни и движения только в жизни внутренней.

Шевырев. — Но, кажется, и на богатство внутренней жизни не вам жаловаться. Вы признанная поэтесса. Хомяков в восторге от ваших стихотворений, Языков шлет вам гимны, Вяземский просит присылать ему ваши новые опыты, Тургенев тает, Растопчина завидует, Белинский собирается вас ругать. Чего же вам больше? К вам вполне применим афоризм Бальзака: c'est une femme de genie, n'en parlons plus!

Каролина. — Если бы все это могло утешить. Мне кажется иногда, что в самом труде поэтов заложена бесконечная грусть: сколько усилий, страданий и жертв, чтоб одной сказкой стало больше на свете, где их так много.

Шевырев. — Вы ошибаетесь, Каролина Карловна, поэты и артисты необходимы человечеству. Вспомните царственный жест Карла V, поднимающего кисть, оброненную Тицианом.

Каролина. — О, я давно изверилась в радостном призвании поэтов:

Нет, тяжела святая лира,
Бессмертным пламенем спален,
Надменный дух с высот эфира
Падет безумный Фаэтон.

Шевырев. — Какие чудные стихи! Вы ими опровергаете всю свою философию. Разве не высшая радость создавать такие строки.

Каролина. — О, дорогой друг, быть женщиной-поэтом еще хуже, чем быть поэтом вообще. Это самое жалкое, ненормальное состояние, как бедственная и опасная болезнь. Нас встречают недоверием и провожают насмешкой.

Шевырев. — Однако вспомните автора Коринны. Вспомните, наконец, мадам Жанлис или теперешнюю новоявленную знаменитость — Жорж-Занд.

Каролина. — Да, я вспоминаю стихи Жанлис:

Secret ennui, sombre langueur,
Dégout du monde et de la vie!

В этих стихах более правды, нежели в восьми ее томах.

Шевырев. — Вы сегодня страшно мрачны, Каролина Карловна. Да полно, вторник ли у вас?

Каролина. — Много огорчений, Степан Петрович. В душе совершаю по себе панихиду.

Шевырев. — Неужели Николай Филиппович опять напроказил?

Каролина. — О, как я в нем разочаровалась, Степан Петрович! Иногда мне странным кажется, как я могла так беззаветно верить в него.

Шевырев. — В сущности, мне всегда казалось, что у вас с ним не много общего.

Каролина. — Но тогда, в первую пору нашего знакомства, он был совершенно иным. Это было сейчас после появления трех повестей. Все говорили об успехе их в Петербурге, о восхищении Пушкина, о гневе государя. Я получила книжку с трогательной надписью знаменитого автора. Я храню этот томик до сих пор в числе моих драгоценных реликвий, рядом с письмами Гёте и Гумбольта.

Она вынимает из письменного столика маленькую книгу и передает ее Шевыреву.

Шевырев *(читает надпись на первой странице)*,—„Московской Сафо—Каролине Яниш, совмещающей лучшие качества пера герцогини Абрантес, Дельфины Ге и причудливой мисс Троллоп, знак сердечного благоговения от непонятого"... Гм..., Действительно, трогательно.

Он возвращает книгу Каролине.

Каролина.—Да, тогда он представился мне глашатаем новых прав человечества, русским Мирабо, Маркизом Позою. Как я зачитывалась этой книгой! (*Она перелистывает томик*). В ней, правда, есть замечательные страницы. Недаром Пушкин восхищался ими. Послушайте, какие гармонические периоды: „Этот подарок дошел, как наследственная святыня, до третьего или четвертого поколения; напоминал подвиги воина, знаменитого в родословной корнета; этот подарок, сработанный под знойным небом для сильной руки и распаленной крови, посвященный мщению, палач христианских голов, модная игрушка воинственных щеголей Востока, лучшая жемчужина Азиатского пояса—этот подарок был: Ятаган".

Шевырев.—О, Николай—стилист первостепенный!

Каролина.—Все в прошлом. Он ничего не пишет, он получает книги и не развертывает их по целым неделям; он, кроме карт, ничего знать не хочет. Такой, Богом данный, талант он зарыл в землю.

Шевырев.—Неужели вы изверились в человеке, которого так любили?

Каролина.—Мне кажется иногда, что это была только тень любви. Но любовь до того невыразимо восхитительна, что даже и тень ее прелестна и лучше всего другого. Вот, что обмануло меня. По-настоящему я любила и, может быть, до сих пор люблю другого.

Шевырев.—Как, неужели эти встречи в салоне Волконской оставили такой след? Неужели этот литовский изгнанник...

Каролина.—Я никогда не разлюблю моего первого жениха. Вот уже скоро пятнадцать лет, как мы расстались с ним, а воспоминания о его любви и доселе являются счастьем для меня. С благодарностью вспоминаю о том благословенном дне, когда он спросил меня: желаю ли я быть его женой. Он всегда стоит предо мной, — он мой, как был моим когда-то.

Шевырев.— Бедный, бедный Мицкевич! Если бы он знал теперь, в своем парижском одиночестве, как его любят еще в Москве.

Каролина *(в глубокой задумчивости).*

Среди забот и в людной той пустыне,
Свои мечты покинув и меня,
Успел ли ты былое вспомнить ныне?
Заветного ты не забыл ли дня?
Подумал ли, скажи, ты ныне снова,
Что с верою я детской в оный час,
Из рук твоих свой жребий взять готова,
Тебе навек без страха обреклась?
Что свят тот миг перед Божьим провиденьем,
Когда душа, глубоко полюбя,
С невольным скажет убежденьем
Душе чужой: я верую в тебя...

Шевырев.—Я думаю, Мицкевич верен до сих пор этим

мечтам. В чужом Париже, с безумной женой, окруженный завистниками, он должен с радостью вспоминать дни своих московских триумфов. Верьте мне, такие люди, как Мицкевич, не забывают своих сердечных увлечений.

Каролина.—Тише. Идет мой муж.

Входит Павлов.

Павлов.—Извиняюсь, дорогой Степан Петрович. В хозяйских хлопотах немного запоздал.

Шевырев.—Ты неисправим, Николай Филиппович. По-прежнему метишь в московские Лукуллы?

Павлов. — Нет, выше: в Гелиогабалы! О, штука важная — обед! Я распорядился, Каролина—кажется, все в порядке.

Каролина.—Благодарю вас, мой друг. Вы меня простите, Степан Петрович, я вас оставлю на несколько минут. (Уходит).

Шевырев.—А знаешь, Николай Филиппович, достанется тебе в истории русской литературы, которую пишу теперь.

Павлов.—Это за что же?

Шевырев. — А за эту самую твою страсть к гастрономии.

Павлов.—Но, дорогой мой, я хлопочу для искусства. На-днях мы даем обед в честь Листа. На своего повара не хочу положиться. Все будет приготовлено мастерской рукой того самого Власа, который некогда был поваром у дяди нашего славного Пушкина. Я разрабатываю теперь программу торжества во всех деталях—от стерлядей, пулярдок и вин до спичей и оркестра.

Шевырев.—Неужели вы решитесь потчивать Листа музыкой?

Павлов.—Он это любит и, представь, признает оркестр необходимым условием дружеского пира. Помимо увертюр к Сомнамбуле или Дону Джиованни, которые Лист разыгрывает лучше всех оркестров мира, мы преподнесем ему еще русские песни.

Шевырев.—Как бы оне не показались ему слишком печальными.

Павлов. —Гениальный истолкователь Шуберта оценит „Не белы-то снеги"... Но, послушай, каким осетром мы его угостим и каким рейнвейном зальем нашу трапезу!

Шевырев.—Однако: нельзя же...

Павлов.—Не возражай! Когда Лист в Москве, Волга и Рейн должны соединить свои дары.

Шевырев.—Да не в этом дело, Николай! Нельзя же литератору пожертвовать всем для стерлядей и пулярдок. Нельзя же автору „Маскарада" записаться в дворецкие всей Москвы.

Павлов.—Нет, голубчик Степан Петрович, я еще не совсем отбился от литературы. Во-первых, я задумал большую повесть, а во-вторых, я—признанный король застольных спичей. Этой славы тебе у меня не отнять.

Шевырев.—Право, грешишь ты, Николай Филиппович. Так прекрасно начать свой писательский путь и так быстро остановиться! Да знаешь ли, что на-днях только у Свербеевых Чаадаев говорил, что твои „Именины" были несомненным событием в русской литературе?

Павлов.—Да, теперь хвалят, а когда эти повести появились, все кричали, что я списываю с Бальзака и Альфреда де-Виньи.

Шевырев.—Ну, что же тут плохого? Марлинский гордился прозвищем русского Бальзака.

Павлов.—Досадно, когда возводят на тебя поклеп. У меня с Бальзаком никогда не было никакого сходства: он нападает на исключительные черты общества, а мои повести—на массы. И разве я не отразил русской жизни? Какой помещик не отдует палками, когда приревнует и будет обманут солдатом?

Шевырев.—Да лишь бы ты писал, а о насмешках наших зоилов нечего беспокоиться. Грустно видеть, что умный, тонкий и просвещенный человек, который мог бы сделаться замечательным русским писателем, отдает все зеленому столу.

Павлов.—Каюсь, Степан Петрович, это сильнее меня! Эти единицы, эти десятки, а особенно эти нули—в них что-то живое, что-то могучее, что-то неоспоримо приятное. Я

чувствую иногда, что гублю свое призвание, но соблазнительный дух жизни извивается предо мной в этих маленьких, кривых и круглых фигурках, не слушая раскаяний души и не пуская ее на волю. Ты спрашиваешь, почему я не пишу. Я часто считаю себя недостойным погружаться в великий мир мысли и, может быть, испытываю на себе, что невозможно Богу служить и маммоне.

Шевырев.—Но каким образом ты дошел до этого? Так быстро и так неузнаваемо измениться!

Павлов.—У всякого есть год, есть день, в который судьба прочитывает решительный приговор его надеждам: то наряжает их в женщину, то подносит в мешках золота. У каждого в жизни есть свое домашнее Ватерлоо... И у меня был такой год, такой день.

Шевырев.—И неужели ты не чувствуешь, что в этот день ты изменил своему заветному, своему настоящему и главному?

Павлов.—Ах, дорогой Степан Петрович:

Я не умел ни разу отгадать,
Что в жизни быль, что в жизни сказка...

Входят Каролина и Дженни.

Каролина.—Нужно приготовить столик со свечами для Александра Ивановича. За письменным столом ему неудобно будет читать.

Павлов.—А в кабинете пусть на всякий случай приготовят карточные столы. Михаил Петрович охотно сражается в преферанс.

Дженни.—Да, я уже распорядилась.

Каролина.—Неужели вы думаете и во время визита Листа играть в карты?

Павлов.—Конечно, нет. Но он ведь нигде не засиживается. Да и Тургенев со своим Шатобрианом не задержит нас на целый вечер.

Каролина *(у раскрытой балконной двери)*. — Смотрите, какой дивный вечер, Степан Петрович.

Шевырев *(подходя к балкону)*.—Да, сегодня можно было бы устроить диспут под открытым небом.

Каролина *(выходит с Шевыревым на балкон)*. — Липы недавно позеленели. Оне шумят так тихо, так созвучно-печально, так таинственно, как будто бы оне стояли не на Сретенском бульваре, а в священной роще.

Они останавливаются у перил балкона и любуются видом.

Павлов *(быстро подходит к Дженни)*. — Когда гости разъедутся, я не поднимусь наверх, а останусь в кабинете. Понимаешь?

Дженни.—Но я боюсь... Мне кажется, Каролина начинает догадываться.

Павлов.—Не бойся, я слежу за всем: мы в полнейшей безопасности. Так придешь?

Дженни *(покорно кивает головой)*.

Каролина с Шевыревым возвращаются с балкона.

Шевырев.—Как тепло! Мне кажется, что я во Флоренции.

Каролина.—Да, в Белокаменной началась редкая импровизация нашей северной природы—настоящая весна.

Павлов.—В такие дни, господа, чувствуешь себя моложе, дышишь полной грудью, становишься невольным приверженцем Жан-Жака. За экипаж в Сокольники я готов отдать и Шатобриана, и Листа, и даже самого Хомякова.

Шевырев.—Немецкая музыка, французская литература, русская философия—у вас сегодня разнообразнейшее меню.

Павлов.—Как мы ни бедны народонаселением, однако-ж и у нас бывает иногда столкновение разных частей света. Европеец и москвичи, путешественники и домоседы, и тот, кто еще едет... А вот и молодежь, будущие столпы российской словесности!

Входят Фет, Полонский и Иван Аксаков.

Каролина.—Наши молодые поэты не любят публичного чтения своих стихов. Они всегда приходят ко мне, пока еще не появилось много сторонних гостей.

Шевырев. — Неужели мой боевой крестник так робок? Вы ведь знаете, я считаю, что Фет создан *Москвитянином*,— а это к чему-нибудь обязывает, я думаю.

Фет. — Я достаточно отважен, Степан Петрович. Вот кончу университет, пойду в кирасиры и докажу вам мою храбрость.

Шевырев. — Да вы и по части стихов можете не робеть. Крюков в восторге от ваших переводов Горация.

Павлов. — Степан Петрович, ты совсем избалуешь нашу молодежь.

Шевырев. — Этого хвалить не опасно. Заслуживает!

Фет. — Не знаю, как благодарить добрейшего Степана Петровича за его отеческое расположение к опытам моей музы.

Каролина *(Полонскому)* — А как ваши поэтические занятия, Яков Петрович?

Полонский. — Попрежнему: пишу стихи и боюсь их читать в шумном сборище.

Каролина. — Вы правы: ваши стихотворения для чтения с глазу на глаз. Как хорош ваш „Вечер":

Зари догорающей пламя
Рассыпало по небу искры:
Сквозит лучезарное море ...

Шевырев. — А, это тоже из *Москвитянина*. Как же! Мне было приятно поместить свое стихотворение рядом с таким удачным опытом.

Ив. Аксаков. — А какую прелесть он написал в духе цыганских песен:

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету...

Павлов. — Господа, чем расхваливать друг друга, не начнете ли чтение своих стихов?

Шевырев. — В самом деле. А ну-ка, Фет, ваши „Горы". Это стихотворение появится в ближайшей книжке *Москвитянина*. Послушайте-ка его, господа.

Фет. — Да я его не помню наизусть, Степан Петрович, оно такое длинное.

Шевырев. — Ну, тогда хоть конец, заключительную

строфу. Как это там у вас: „Я никогда не понимал“...

Фет. —

Я никогда не постигал,
Что нынче сердцем разумею;
Зачем Он горы выбирал,
Когда являлся Моисею,
И отчего вблизи небес
Доступней таинства чудес...

Шевырев. — А? Каков мой протеже?

Павлов. — Да, кажется, русская словесность может спокойно положиться на свои новые столпы.

Каролина (*к Аксакову*). — Иван Сергеевич, а вы-то почему молчите? Забыли обещание: а ваша мистерия где?

Шевырев. — Мистерия?

Каролина. — Пусть это вас не удивляет. Еще нет года, как Иван Сергеевич служит в сенате, и впечатления от своей новой деятельности он выразил в поэме-мистерии „Жизнь чиновника“. Я знаю пока эту поэму только в его пересказе, но сегодня мы услышим ее целиком.

Ив. Аксаков. — Мне хотелось выразить в драматической форме, как надежды и мечты студенчества разбиваются в служебной практике...

Шевырев. — Читайте, читайте.

Ив. Аксаков (*разворачивает рукопись*). — Моя мистерия в трех периодах, господа. В ней действуют: чиновник, Демон службы, Таинственный голос, хор добрых гениев и Курьер. (*Откашливается*). Будущий чиновник сидит за столом, на котором лежат книги, журналы и неразрезанные томы Свода законов:

Служить иль не служить? Да, вот вопрос!
Как сильно он мою тревожит душу!
Не я ль мечтал для общей пользы жить...

Входят Александр Тургенев с племянницей Лидией Кек.

Тургенев. — Вы видите, я исполнителен. Я к вам с рукописью и с племянницей.

Каролина (*Лидии Кек*). — Как мило, что вы меня не забываете!

Лидия Кек. — Вы знаете, как я люблю вашу деклама-

цию. И при этом, сознаюсь, перспектива увидеть Листа вблизи слишком соблазнительна...

Павлов. — Как живете, дорогой Александр Иванович? Все погружены в российские древности?

Тургенев. — Нет, утопаю сердцем и душой в салонах. Спешу всюду, где могу встретить нашу Рекамье — Свербееву, Елагину и собор антиславян. Вчера был на утреннике у Чаадаева, сегодня на вечере у вас, завтра буду у княгини Мещерской.

Павлов. — А, завидую вам. Княгиня Елена так хороша!

Тургенев. — О, да! Я ежедневно встречаю ее на бульваре, часто у Ховриных и всегда в моем сердце. А вам, Каролина Карловна, привет от князя Петра Андреевича: в каждом письме просит ваших новых стихов.

Каролина. — Я боюсь, он опять злоупотребит своим правом пламенного поклонника.

Шевырев. — Каким образом? На расстоянии?

Тургенев. — О, это прелюбопытный случай! Я послал недавно Вяземскому стихи Каролины Карловны, не предназначенные для печати. На беду при получении их у князя находился Плетнев. Прочли стихи и нашли их такими прелестными, что Плетнев забрал их силой для „Современника", а князь их отдал почти добровольно.

Шевырев. — Какое мародерство!

Тургенев. — И вот, чтоб оправдать себя, князь сослался на свое право пламенного поклонника действовать иногда так же предательски, как Гизо.

Павлов *(подходит к молодежи)*. — Вашему чтению помешали? Идем сюда, господа. (*Направляется к кабинету*). Здесь, в этой скромной обители муз, никто не нарушит занятий юных служителей Полигимнии.

Входит в кабинет. Иван Аксаков с рукописью, Полонский, Фет и Дженни уходят за ним.

Каролина *(Лидии Кек)* — Вы видали последние эстампы парижских мод? *Отечественные Записки* дают теперь прелестные картинки...

Оне подходят к письменному столу и просматривают объемистые книжки петербургского ежемесячника.

Лидия Кек *(через лорнет любуется картинками).* — Какая прелесть эти кауфюры с розами и короткие рукава... *(Они перелистывают журналы).*

Тургенев *(у двери в кабинет).* — Скажите, Степан Петрович, неужели правда все, что говорят в городе про семейство Павловых?

Шевырев. — Что же говорят?

Тургенев. — Помилуйте, он, повидимому, совершенно разоряет ее и, к довершению всех бед, волочится за ее кузиной. Право, это даже против либеральных постановлений Наполеонова кодекса.

Шевырев. — Но ведь это только предположения...

Тургенев. — Разумеется, но Соболевский утверждает, что наша поэтесса так увлечена своими творческими видениями, что не видит происходящего перед ее глазами...

Шевырев. — Нашли кому верить. Главный сочинитель московских сплетен.

Павлов возвращается из кабинета.

Павлов. — „Служенье муз не терпит суеты"... Юная поэзия боится салонного шума.

Тургенев. — В Петербурге поэтическая молодежь гораздо смелее.

Каролина. — Какие литературные новости в Петербурге, Александр Иванович?

Тургенев. — Растопчина написала стихи на первый сон магнетический. Дело в том, что в Петербурге теперь Дюпоте, и все дамы так же бредят магнетизмом, как князь Вяземский вашими стихами.

Каролина. — Однако, князь постоянен в своих симпатиях. Он меня приветствовал стихами еще в самом начале моей деятельности.

Тургенев.—У вас сохранилось это приветствие?

Каролина. — Оно было записано в альбом. Хотите прочесть?

Она передает ему старинный альбом с золотым обрезом, в сафьяновом переплете.

Тургенев *(перелистывая альбом)* — О, какая богатая

коллекция автографов: Баратынский, Гумбольдт, Гёте, Мицкевич, Языков... А вот князь Вяземский. О, какое пространное послание! Но ведь это прелестно, господа:

Известны мне ваш ум, его занятья,
Кому открыл разборчиво объятья
Сей пламенный воспитанник наук,
Согражданин всех муз разноплеменных,
Жрец алтарей, их вер, равно священных,
И важных дум, и стройных песен друг.

Узнаю князя Петра—его тонкую лесть...

Ш е в ы р е в. — „И простодушие с язвительной улыбкой"...

Входят К о н с т а н т и н А к с а к о в и С а м а р и н.

П а в л о в. — А, неразлучные магистранты!

Ш е в ы р е в. — Два Аякса московского любомудрия! По-прежнему во всем согласных убеждений?

К. А к с а к о в. — Этого никогда не было, Степан Петрович. Мы откровенно говорим друг другу и ни перед кем не скрываем, когда и в чем мы не согласны.

Ш е в ы р е в. — Признаться, я не представляю себе, какие спорные вопросы могут вас разъединить.

С а м а р и н. — Да хотя бы вопрос об отношении религии к философии.

Т у р г е н е в. — Вы, если не ошибаюсь, задались целью примирить Шеллинга с православием?

С а м а р и н. — Я просто думаю, что православная церковь должна быть оправдана современной философией.

К а р о л и н а. — Александр Иванович, не возбуждайте богословских диспутов. Мы собираемся здесь только для просвещенных бесед.

Ш е в ы р е в. — Подчиняюсь. Хотя наша молодежь предпочитает, кажется, ученые диспуты просвещенным беседам.

П а в л о в. — Нет, меня больше всего поражает, что эти молодые люди еще занимаются Гегелем и Гете. Ведь Константин Сергеевич ограничивает весь мир московскими заставами. Вы, как истый отпрыск семейства Аксаковых, любите не человека вообще, а исключительно русского человека, да и то только такого, который родился на Москве-реке или на Клязьме. Русских, имевших несчастье родиться на берегу

Финского залива, вы уже не признаете русскими. Ведь так, не правда ли?

К. Аксаков. — Не совсем. Я просто думаю, что Москва вырабатывает русскую мысль и что значение ее — это единство, совокупление, целость всея Руси.

Шевырев. — Нет, Николай Филиппович, меня гораздо больше поражает способность Юрия Федоровича строить свою философию православия на немецких началах.

Самарин. — Что-ж тут удивительного? Изучение истории церкви привело меня к выводу, что только философия может определить место православию, как вечно присущему моменту в развитии духа. Вот почему я думаю, что судьба нашей церкви тесно связана с участью философии Гегеля. Как в эпоху Блаженного Августина воцарилась гармония между искусством и религией, так в наши дни должно совершиться примирение философии и веры.

Тургенев. — Это не салон, а собор! Вы видите, Каролина Карловна, ваша просвещенная беседа превратилась в богословский диспут.

Входит Погодин.

Погодин. — Вот и я, Каролина Карловна, к вам на собрание литераторов.

Каролина. — Если я посещаю ваше древлехранилище, Михаил Петрович, вы должны быть непременным членом моего литературного салона.

Погодин. — Да, ваш салон у меня на особенном счету. Я помню отзыв Могена. *(Обращаясь к Тургеневу).* Когда года три тому назад французский депутат уходил со мной вместе от Каролины Карловны, он спросил меня: один ли у вас круг такой, где говорят, как у нас в Париже, или многие.

Тургенев. — Что-ж вы ответили ему?

Погодин. — Так, говорю, мимоходом беседуем мы, чтоб убить время.

Тургенев. — Вы напрасно так обесценили наши собрания. Литературные салоны Москвы уже имеют свою неписанную историю.

Лидия Кек. — Неужели! Разве это такой старинный обычай?

Тургенев. — Вы хотите знать „откуда есть пошел московский салон“?

Лидия Кек. — Конечно, это такая важная дата.

Тургенев. — Извольте. Старший брат князя Голицына, князь Борис Владимирович, учредил первые в Москве перед нашествием французов частные литературные собрания, на коих присутствовали Карамзин и Мерзляков и кои посещались г-жею Сталь. Салон Волконской у всех на памяти...

Каролина. — Александр Иванович, я позволю себе прервать вашу маленькую лекцию. Поберегите свой голос для Шатобриана.

Погодин. — Так это правда? Вы будете читать сегодня неизданное сочинение творца Рене?

Тургенев. — Да, неизданное и которое, вероятно, еще не скоро увидит печатный станок.

Погодин. — Это большой праздник для меня! Вы знаете, Шатобриан один из моих немногих кумиров. На двадцатом году я был совершенно очарован его красноречием. И когда в прошлом году я посетил его в Париже, я счел нужным сказать ему: вашим сочинениям я обязан прекраснейшими минутами моей молодости.

Павлов. — И как же принял это Шатобриан?

Погодин. — Старец, услышав мое приветствие, был, кажется, очень доволен, посадил меня подле себя у камина и начал расспрашивать о русской литературе, государе, с которым он встречался в Берлине, о просвещении.

Каролина. — А какой вид теперь у Шатобриана? Очень он похож на эстампах?

Погодин. — Ну, не совсем! Старичок низкого роста, с развевающимися волосами, широкий в плечах, плотный собой, таков нынешний Шатобриан.

Каролина. — С кем еще из великих людей вы встречались в Париже, Михаил Петрович?

Погодин. — С самим Гизо. Еще когда вышла его „История цивилизиции в Европе“, я хотел написать ему, что его рассуждениям недостает целой половины, т.-е. Восточной Европы. При встрече я сообщил ему об этом, и Гизо пожалел, что я не исполнил своего намерения...

Тургенев. — Я ценю Гизо как историка, но не как политика.

Входит Грановский.

Павлов. — Вы как нельзя более кстати, Тимофей Николаевич: мы спорим о Гизо.

Грановский. — Тема современная, но не слишком обширная. Я считаю, что политические идеалы Гизо сузились и обеднели из-за его недоверия к политическим дарованиям французов.

Погодин. — Быть может, именно в этом сказывается мудрость правителя.

Грановский. — Пренебрежение к народному духу не может обойтись даром во Франции. Рано или поздно система Гизо и Луи-Филиппа не выдержит: они и умны и ошибаются не по-французски, и вот это-то им не простится.

Погодин. — Однако все последние действия Гизо оправдываются государственной необходимостью.

Грановский. — Но ведь и Варфоломеевскую ночь теперь оправдывают так называемой государственной необходимостью.

Погодин. — Что делать! Болезни народного организма требуют иногда кровавых лекарств.

Грановский. — Но такие лекарства, как Варфоломеевская ночь, изгоняя один недуг, зарождают несколько других, более опасных. Государство, прибегая к ним, теряет свой нравственный характер и позорит цель, к достижению которой стремится.

Шевырев. — Однако Екатерина Медичи во многом достигла своей цели.

Грановский. — В Варфоломеевскую ночь французское правительство только показало народу пример самоуправства и убило надолго в нем чувство права.

Погодин. — Все это предрассудки, которым давно пора рассеяться.

Тургенев. — Но, Михаил Петрович, вы, кажется, и равновесие Европы считаете предрассудком?

Погодин. — Гораздо хуже. Со времен Веронского конгресса я не перестаю утверждать, что политическое равнове-

сие Европы принадлежит к числу тех мыслей, которые вместе с поверьями о колдунах, приведениях и чертях суть порождения невежества и суеверия, и в наш просвещенный век должны вывестись и исчезнуть при свете истинного мышления.

Входит Киреевский с женой. Вскоре после их прихода Дженни появляется у чайного стола.

Киреевская. — У вас сегодня grand jour, Каролина Карловна; турнир наших обычных спорщиков, завершенный концертом Листа.

Каролина. — Да, если только маэстро сдержит слово. А где ваш брат, Иван Васильевич?

Киреевский. — Погружен в работу. Мы с ним ведь можем писать только ночью. Днем я решительно не могу ни писать, ни жить, разве только читать, что, по словам Фихте, то же, что курить табак, т.-е. без всякой пользы приводить себя в состояние сна наяву.

Тургенев. — Петр Васильевич на днях прелестно подшутил над самим собою: я, говорит, прославился неизданием русских песен.

Лидия Кек. — О, я не знала, что Петр Васильевич умеет шутить; мне всегда казалось, что он собирается в монахи.

Киреевский. — Вы, может, и обо мне это думаете, а? Признайтесь, Лидия Сергеевна.

Лидия Кек. — О, vous êtes beaucoup plus mondain! Хотя иногда это можно подумать и о вас.

Киреевский. — Вы меня убиваете. Чем доказать вам, что я могу быть совсем mondain?

Лидия Кек. — Сделайте мне остроумный комплимент.

Киреевский. — Постараюсь. Примите прежде всего мое искреннее восхищение вашим нарядом, это верх сдержанности и вкуса.

Лидия Кек. — Благодарю вас, Иван Васильевич, за мою портниху.

Киреевский. — О, я думаю, это относится к вам гораздо больше, чем к ней. Одеваться хорошо совсем не так

легко, как думают обыкновенно. Я считаю даже, что искусство хорошо одеваться должно принадлежать к числу изящных искусств, по крайней мере, столько же, сколько танцованье.

Лидия Кек. — Разве?

Киреевский. — Я убежден в этом. Хорошо одеваться так же трудно, как быть великим музыкантом или великим живописцем и, может быть, даже великим человеком.

Каролина. — Вы льстите нам, Иван Васильевич. На свете чаще встречаются женщины хорошо одетые, чем Наполеоны или Байроны.

Киреевский. — Я готов чем угодно доказать вам противное.

Павлов. — Вы хотите прочесть нам лекцию об одежде?

Киреевский. — А хотя бы и так. Тимофей Николаевич собирается читать вам об Александре Македонском. Почему мне нельзя прочесть вам лекцию: Философия дамского наряда?

Раздаются голоса: «браво, браво! Просим, начинайте, Иван Васильевич!» Все окружают Киреевского, рассаживаются и приготовляются слушать. Разносят чай.

Киреевский *(поднявшись с своего места и опираясь о спинку кресла, как о трибуну).* — Милостивые государыни! В доказательство, что я говорю без преувеличения, утверждая, что одеваться хорошо так же трудно, как быть великим человеком, постараемся исчислить все те качества, которые необходимы женщине, чтобы быть хорошо одетой в истинном смысле этого слова.

Лидия Кек. — Il va nous dénigrer.

Тургенев. — Il est trop poéte pour ça, Mademoiselle.

Голоса. — Тише, тише!

Киреевский. — Итак, милостивые государыни, для этого нужно: во-первых, красота, по крайней мере, некоторая степень красоты; во-вторых: вкус, то-есть качество, которое дается немногим и требует еще счастливого и правильного развития. Следовательно, необходимы еще воспитание и образованность...

Тургенев. — Но кому не случалось встречать женщину прекрасно одетую без образованности и воспитания?

Киреевский. — Но рассуждать об одежде таким образом—значит, не понимать ее глубокого значения. Конечно, женщина необразованная может быть одета по моде и даже к лицу; но разве это все? Красота одежды заключается не в моде и даже не в красивости, она не в шелках и не в блондах, не в страусах и не в брильянтах. Одежда, как слово, кроме наружной гармонии имеет ещей свой внутренний смысл, понятный для понимающего. Этот смысл должен быть в ладу не только с лицом и модою, но с целым существованием женщины.

Голос *(из дамской группы)*. — Il a parfaitement raison!

Киреевский.—Для прекрасной гармонической одежды необходима грация манер, ума и душевных движений, которая предполагает внутреннюю жизнь стройную, гармоническую и прекрасную, т. е. поэзию сердца.

Лидия Кек. — Господи, сколько качеств нам нужно, чтоб понравиться Ивану Васильевичу!

Киреевский *(возмутимо продолжает)*. — Всего этого еще мало для того, чтобы хорошо одеваться. Чтоб красивый наряд женщины был вместе с тем и прекрасным выражением ее внутренней красоты, мало иметь красоту, понимать и любить ее; кроме красоты, она должна иметь еще постоянную возвышенность ума и характера, ибо в противном случае желание нравиться нарушает внутреннюю гармонию.

Каролина. — Но после этого, кто из нас решится признать себя нарядной?

Киреевский. —Я продолжаю, милостивые государыни. Вы видите, таким образом, что одежда имеет свою физиономию, предполагает своих Лафатеров и, так же как лицо, может служить зеркалом души. Но для того, чтоб одежда служила зеркалом души, не мешает женщине иметь еще одно качество... *(Он останавливается в ироническом ожидание)*.

Каролина. — Именно?

Киреевский. — Душу...

Павлов. — Браво, браво, Иван Васильевич.

Лидия Кек. — Mais ça devient cruel!

Киреевский. — На этом я кончаю. Вы видите из всего сказанного, что одеваться со вкусом, изяществом и гармонией не может быть общей принадлежностью женщин нигде, ни в каком государстве. Поэтому я надеюсь, что московские красавицы не примут себе в особенную обиду, когда я скажу им, что иногда на Тверском бульваре в день гуляния нет ни одной хорошо одетой дамы, — хотя сегодня, например, туалеты моих слушательниц решительно ни в чем не противоречат моей философии одежды.

Он кланяется и садится. Всеобщие аплодисменты и возгласы одобрения.

Лидия Кек. — Я беру назад мое мнение. Если вам и пристало духовное звание, то разве только салонного аббата.

Грановский. — Молю об одном, Иван Васильевич, дай мне, Господи, иметь такой же успех моими публичными лекциями!

Каролина. — Благодарю вас вдвойне, Иван Васильевич, как хозяйка и как женщина. Меня радует мысль, что к нашим нарядам можно подойти с такими серьезными словами.

Киреевская. — Я не думаю, чтобы мы могли воспользоваться этими указаниями. Чем меньше мы философствуем перед нашими зеркалами, тем лучше. Хороший куафер нам полезнее ученейших лекторов.

Каролина. — О, конечно! Перед туалетом нужно забыть ученость, книги, стихи и быть только женщиной. Иногда нужно жить, не задумываясь, и радоваться безотчетно. *(Входящему Герцену).* Не правда ли, Александр Иванович, мы все теперь слишком мало живем и слишком много размышляем?

Вошедший при последних словах Герцен здоровается с присутствующими.

Герцен. — О, да, отличительная черта нашей эпохи есть gruebeln и образ нашего века это — Гамлет.

Павлов. — Но почему мечтания так одолели нас? Почему мы все вдруг стали духовидцами?

Герцен. — Некогда действовать! Мы переживаем бес-

прерывно прошедшее и настоящее, ищем оправданий, объяснений, критики. Это болезнь промежуточных эпох. Старые убеждения потрясены, но они дороги сердцу; новые убеждения пророчат могучие цветы, но они чужды душе.

Тургенев. — Но в чем же вы усматриваете это столкновение двух миров?

Герцен. — Мне кажется, что романтизм и классицизм заканчивают новый фазис борьбы. Опять возник вопрос, решенный на первый случай при Ватерлоо: кому владеть полем — Наполеону-классику или романтику-Веллингтону? Тогда романтизм восторжествовал и вступил в борьбу со всем на свете, как Дон-Кихот, а классицизм сидел с спокойной важностью римского сенатора. Но он не был мертв, и веселые песни Беранже раздавались в стане классиков.

Павлов. — Я никогда не ожидал от вас, Александр Иванович, такой приверженности древнему миру.

Герцен.—О, я всегда утверждал, что римская история имеет то же благородное влияние на душу юноши, как романы на душу девушки. И я с радостью следил, как эти самые классики, осыпаемые проклятиями романтиков, молча отвечали им пароходами, железными дорогами, целыми отраслями наук или целым рядом машин, которыми они отрешали человека от тяжких забот.

Каролина. — Но, Александр Иванович, ведь чувствовать, любить и молиться также несколько полезно для человечества.

Грановский. — Неужели, дорогой Фитильярх, ты, защитник и провозвестник Гофмана, идешь борьбой на романтизм? Неужели ты в стане непримиримых классиков?

Герцен. — Я в стане человечества. Оно не хочет больше ни классиков, ни романтиков. Оно хочет людей современных. Пока классики воевали с романтиками, возросло нечто более сильное и могучее; оно прошло между ними, и они не узнали властителя по царственному виду его.

Каролина. — И это было?

Герцен. — Это была внутренняя мысль, живая Психея современного нам мира. Она отменила прошлое и признала его бессмертие: мы никогда не забудем ни классиков, ни

их противников. Ведь романтизм был прелестной розой, выросшей у подножия распятия, но питавшей свои корни из земли.

Шевырев. — Когда же, по вашему, произошел переход из одной эры в другую?

Герцен. — Точные даты трудно установить, но вам, как историку, я дам удовлетворение. В мае 1812 года, в то время, как у Наполеона в Дрездене толпились короли и венценосцы, печаталась в какой-то нюренбергской типографии Логика Гегеля. На нее не обратили внимания, потому что все читали тогда же напечатанное объявление о второй польской войне. Но она прозябала. В этих нескольких печатных листах, писаных трудным языком и назначенных для школы, лежал плод всего прошедшего мышления и семя будущего. Истина лучезарна, ей достаточно одной щели, чтоб осветить целое поле.

Входит Кетчер.

Павлов. — Слава Богу, я спокоен за участь нашего шампанского. Виночерпий явился.

Грановский. — Привет Робинсону из Сокольников!

Герцен. — Или московскому Робеспьеру.

Кетчер. — Оставьте, господа, ваши китайские церемонии. Вот скоро оставлю Москву, переберусь в Петербург, тогда обо мне пожалеете.

Тургенев. — А почему он московский Робеспьер?

Павлов. — Как же, вместо молитвы он ежевечерне читает на сон грядущий речи Марата и Робеспьера. Впрочем, в последнее время он так ожесточился, что стал у нас московским Макбетом.

Тургенев (тихо, указывая на густую и растрепанную шевелюру Кетчера).—Он скорей мог бы изображать подвижной Бирнамский лес.

Кетчер. — Да полно, господа, вздор молоть! Никогда я не молился Робеспьеру, да и не считаю его великим человеком. Сам сбрендил в самую важную минуту.

Герцен. — Лекарь Кетчер, не забывай лекаря Шиллера: Respect vor den Traeumen deiner jugend!

Каролина. — Кстати, Николай Христофорович, я со

перничаю с вами. Пробую перевести шиллеровский „Колокол".

Кетчер. — Кажется, задача непосильная ни для меня, ни для вас.

Грановский. — Вы должны доказать этому наглецу всю его дерзость. Прочтите нам ваш перевод, Каролина Карловна.

Каролина. — О, это только отрывки и наброски. Робкие вариации на великую тему—

Разыгранный Фрейшиц
Перстами робких учениц.

Кетчер. — Скажите, Каролина Карловна, когда вы перестанете вставлять в каждую фразу пять ямбов и дюжину гекзаметров?

Каролина. — Меньше всего я злоупотребляю гекзаметрами. Вот размер, которым я никогда бы не могла писать.

Герцен *(Погодину)*. — Скажите, Михаил Петрович, где, в каких краях, под каким градусом широты, долготы, возможна угловатая, шероховатая, взбалмошная, безалаберная, добрая, шумная, неукладистая фигура Кетчера, кроме Москвы?

Погодин. — Да, так только русская печь печет.

Герцен. — И каких чудес она не печет, особенно, когда хлеб сажают на немецкий лад, от саек и калачей до православных булок с Гегелем.

Погодин. — А возьмите другой пример—нашего Хомякова. Часто ли удается встретить столько сведений самых разнообразных, соединенных с таким необыкновенным даром слова? Чего он не знает? Только слушая Хомякова, можно верить баснословному преданию о Пике Мирандольском, предлагавшем прения de omni re scibili.

Самарин. — Его многосторонность поражает: он переводит Тацита, опровергает Гегеля, изыскивает новые способы лечения холеры, пишет проекты об освобождении крестьян, распределяет границы американских республик, анализирует до малейшей подробности сражения Напалеоновы, излагает учение Эдды и буддийскую космогонию.

Грановский.—Хомяков умен, много знает, но отсутствие настоящего жизненного интереса мешает ему стать действительным ученым. По-вашему же, господа, выходит, что нет такой ветви мышления, в которой Хомяков не был бы знатоком.

Погодин.—Не только мышления, но и действия. Хомяков изобретает паровую машину с сугубым давлением; сочиняет дальнобойное ружье; предлагает новые способы винокурения и сахароварения; лечит гомеопатией; скачет по полям с борзыми за зайцами и получает первый приз в обществе стреляния в цель.

Герцен. — А какую из всех этих областей Хомяков считает своим призванием и специальностью?

Самарин.—Ни одну. Он считает себя рожденным для живописи. По целым неделям сидит он с палитрой в руках...

Каролина.—А какой поэт! Каждый стих Хомякова звенит, как золото. Вы только послушайте:

Не презирай клинка стального
В обделке древности простой
И пыль забвенья векового
Сотри заботливой рукой...
И там, где меч с златой оправой,
Как хрупкий сломится хрусталь,
Глубоко врежет след кровавый
Его синеющая сталь.

Герцен. — Стихи прекрасные, но я думаю, что Хомяков—дилетант во всем. Он спорит для спору и ничего не любит по-настоящему.

Кетчер. — Как жаль, что такой человек погряз в византийстве!

Входит Хомяков.

Хомяков (*в дверях*). — Кто говорит против византийства? А, обычное зрелище: те же о том же!

Каролина. — Почему вы не допускаете, Алексей Степанович, что мы сегодня толкуем о совершенно новом предмете?

Хомяков. — Я слишком знаю славные обычаи наших

бесед. Это—как опера в Италии: одна идет на целый год, и слушателям не скучно.

Каролина.—Представьте, что мы беседовали о вас.

Хомяков.—О, если вы считаете меня совершенно новым предметом, то мне, суетному сорокалетнему парню—как назвал меня недавно Герцен—приходится только земно кланяться.

Герцен. — Каюсь, я и сегодня поддерживал мое тогдашнее обвинение.

Павлов. — О, не в полном об'еме! Хотя Александр Иванович утверждает, что ты споришь из любви к искусству и по-настоящему ничего не любишь.

Хомяков (*смеясь напевает*).

Я то люблю, что сердце греет,
Что я могу своим назвать...

А нам с вами, Александр Иванович, повидимому, сегодня предстоит опять сражение.

Герцен. — Радуюсь этому. С таким бойцом помериться стоит всякому учению.

Тургенев.—Мы должны поблагодарить вас, Алексей Степаныч, за доставленное нам наслаждение: перед вашим приходом Каролина Карловна прочла нам — и прочла образцово — одну из ваших поэм: „Кинжал", кажется, или „Клинок".

Хомяков. — О, „прошлой юности грехи"! Я от стихов теперь совсем отстал и только прозою дразню профессоров. Хлопоты по предметам историческим отпугнули музу.

Павлов. — Над чем трудитесь теперь, Алексей Степанович?

Хомяков. — Делаю разыскания о предметах современных: Серамимиде, ликийских надписях и Кире. Есть однако же надежда, что на будущий год дойду до Рождества Христова.

Лидия Кек. — Когда же вы дойдете до современной истории?

Хомяков.—Если сам доживу до двадцатого века. Мои занятия заведены на 50 лет, и чудес исторических у меня

пропасть. Никто еще не знает, что это за славяне, которых мы потомки.

Грановский.—Вы нам обещаете научные открытия?

Хомяков.—Обещаю. Но только через 10 лет. Сегодня же я хочу стихов. Меня муза покинула, как Виктора Гюго, и я наслаждаюсь только чужими строфами.

Грановский. — Как! Виктор Гюго покинут своей музой?

Хомяков. — Быть может, временно, но, во всяком случае, несомненно. Видно, иссякает источник Кастальский везде: и Англия, и Германия нас питают жидкостями, точно доктора нам всем прописали воды.

Герцен. — Но если Гюго перестал нас восхищать, чьими строфами вы еще наслаждаетесь?

Хомяков. — Строфами Каролины Павловой. С восторгом слежу за ее ростом. Помните, Каролина Карловна, вы в прошлом году читали мне отрывки из вашей маленькой поэмы. Какая прелесть! Ну что, вы закончили ее?

Каролина.—О, нет, эта маленькая поэма разрастается в несколько больших.

Хомяков.—Прочтите нам отрывки. Вам замечательно удался тон разговора. Представьте себе, господа, такой сюжет: барышни, собравшись на бал, рассказывают свои сердечные истории друг другу. Сам Пушкин не отказался бы от легкости и непринужденности их разговора.

Каролина.—Ну, что вы, Алексей Степанович! Единственное отношение Пушкина к моей поэме — это посвящение, которым она открывается. Я ее начинаю стансами памяти Пушкина.

Шевырев.—Удачная идея! Просим прочесть.

Каролина.—Извольте. Но предупреждаю, это только отрывок. (*Она подходит к письменному столу, достает рукопись и, усевшись в высоком готическом кресле, читает нараспев):*

Ужели дум моих обманы
Увлечь дерзнут мой детский стих
В заветный мир твоей Татьяны,
В мир светлых образов твоих,
Где облачал мечту-царицу

Ты в лучезарный дифирамб
И клал ей в гордую десницу,
Как звучный меч, свой мощный ямб?
Увы! Где тот в отчизне целой,
Кто б мог, как ты, непобедим,
Владеть теперь в надежде смелой
Твоим оружьем золотым?
Сраженный смертию нежданной,
Доспех ты чудный взял с собой,
Как в старину, булат свой бранный
В свою гробницу брал герой.
И все робеют и поныне,
Поэта вспоминая вид;
Все страшен ты певцов дружине,
Как рати мавров мертвый Сид.

Взрыв восторгов и аплодисментов; крики: „браво, брависсимо!" Тургенев целует Каролине руку.

Хомяков (*Герцену*).—Каково оперилась барыня? Чудо, да и только!

Герцен. — О, ее ум и талант не подлежат сомнению.

Шевырев.—Бесподобно, Каролина Карловна! Вы невольно наводите на размышления о великой тайне нашей поэзии—пушкинском совершенстве. Мне всегда казалось, что ключ к ней—помимо, конечно, вопроса о его гениальности—в его глубочайшем и всестороннем познании всего русского творчества.

Погодин.—О, какой это был знаток! Когда здесь, в Москве, он читал нам „Бориса Годунова", мне показалось, что мой родной и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена.

Шевырев. — Когда Пушкин в 1826 г. явился у нас в Москве на высшей степени своего развития, как творец „Бориса Годунова", мы часто собирались около него и внимали его беседам о литературе русской. Все ее произведения были у него на свежей памяти. Он любил даже величаться этими знаниями и нередко чудными полными устами своими произносил стихи Ломоносова и Державина. Я живо помню его слова, равно как и быстрые движения, и пламень глаз, которыми он сопровождал их.

Павлов.—Мне часто кажется, что я вчера беседовал с Пушкиным. А между тем уже седьмой год, как он ушел от нас.

Грановский.—Помню, как меня потрясло на чужбине это известие. Я был тогда в Берлине. Граф Кутузов, зять нашего посланника, первый получил письмо с грустным известием и тотчас принес его в университет, на лекцию к Гансу. Я долго не мог ничего делать от тоски.

Хомяков.—Оскорбительно-бессмысленный конец! Причины дуэли порядочной не было, и вызов Пушкина показывает, что его бедное сердце давно измучилось и что ему хотелось рискнуть жизнью, чтоб разом от нее отделаться или ее возобновить. Его Петербург замучил всякими мерзостями; сам же он себя чувствовал униженным и не имел ни довольно силы духа, чтоб вырваться из унижения, ни довольно подлости, чтоб с ним помириться.

Грановский.—Можно ли Пушкину ставить в упрек его дуэль?

Хомяков.—Я ставлю Пушкину в упрек этот недостаток душевных сил для жизненной борьбы. От него мы имели право требовать многого. А между тем в его душе, слишком непостоянной, иссякли силы для истинного возрождения. Оттого-то вы можете им восхищаться, или, лучше, не можете не восхищаться им, но при этом не можете ему благоговейно кланяться.

Каролина.—Вы ошибаетесь, Алексей Степанович, я перед Пушкиным преклоняюсь благоговейно.

Чаадаев входит при последних словах, останавливается и низко кланяется Каролине.

Чаадаев. — J'incline mon front chauve, madame, devant cette parole formidable.

Каролина.—Вы как нельзя более кстати, Петр Яковлевич; мы спорим о Пушкине.

Чаадаев.—Вы произносите самое дорогое для меня имя. Дружба Пушкина принадлежит к лучшим событиям моей жизни. До сих пор для меня высшая отрада—признание Пушкина, что я спасал от гибели его чувства и воспламенял в нем любовь к высокому.

Погодин.—Меня всегда удивляет, почему вы не напишите своих воспоминаний о Пушкине?

Чаадаев.—Нелегкая задача! Очень знаешь, что о нем сказать, но как быть с тем, чего нельзя сказать? Нет, лучше оставим воспоминания.

Павлов.—Матадоры в сборе. Не возобновим ли, господа, наш обычный спор?

Чаадаев.—Это о чем же?

Павлов.—Да все о том же, конечно, о любви к отечеству и народной гордости.

Чаадаев.—О, на эту тему мы никогда не сговоримся. Есть столько способов любить свое отечество! Самоед, разумеется, любит иначе свои родные снега и дымную юрту, чем английский гражданин, гордый учреждениями своего славного острова.

Хомяков.—И русский гражданин должен, конечно, любя свою родину, отвернуться от ее самобытных начал и стремиться слить ее с высокой цивилизацией славных западных островитян?

Чаадаев.—Этого я не говорю, напротив, я думаю, что между нами и Европой нет ничего общего... кроме паровых карет.

Хомяков.—И вы считаете это тоже одним из оттенков многообразной любви к отечеству?

Чаадаев.—Я думаю, Алексей Степаныч, что любовь к отечеству—прекрасная вещь, но есть нечто лучшее, это—любовь к истине.

Хомяков.—В таком случае вам удалось избрать себе благую часть: никто не сомневается в вашей любви к истине, и всем известны ваши сомнения в будущности русской нации.

Чаадаев.—Я думаю, было бы непростительной ошибкой сомневаться хотя бы мгновение в судьбах нации, из недр которой вышли такие организации, как мощная натура Петра Великого, всеобъемлющий разум Ломоносова и изящнейший гений Пушкина.

Хомяков.—А между тем многие повинны в таких непростительных ошибках. Я по крайней мере не улавливаю

тот оттенок в многосложной любви к отечеству, который соответствует вашему патриотизму, Петр Яковлевич.

Чаадаев.—Я люблю мою родину, как Петр Великий научил меня любить ее.

Хомяков.—Петр Великий ударил по России, как страшная гроза. Он, правда, пробудил нас к сознанию нашей силы, но слишком тяжкими ошибками омрачил свою славу преобразователя.

Чаадаев.—Вы забываете, что Петр нашел у себя только белый лист и своей могучей рукой начертал на нем: *Европа* и *Запад*. С тех пор мы принадлежим Европе и Западу.

Шевырев.—Слушая ваш спор, господа, убеждаешься, что вся драма современной истории выражается двумя именами: Запад и Россия. Вот последнее слово истории, вот два данных для будущего.

Лакей подходит к Павлову и что-то докладывает ему.

Павлов.—Господа! Сообщаю вам отрадное известие. По имеющимся у меня сведениям, Лист через четверть часа будет здесь.

Общее движение.

Лидия Кек.—Какая удача!

Киреевская.—Быть может, он согласится что-нибудь сыграть?

Каролина.—Весьма возможно: щедрый и великодушный, он расточает богатство своего таланта, где только может.

Тургенев.—Он обедал на-днях у одного из наших тонких ценителей музыки, с которым познакомился еще в Риме. После обеда он сел за фортепиано и напевал, аккомпанируя себе, романсы графа Виельгорского.

Павлов.—На-днях он играл у Яра перед целым цыганским хором. Это было прелестно. Лист, как венгерец страшно интересуется цыганской музыкой. Говорят, он готовит целый труд о ней. И вот на-днях его застали у Яра, щедрой рукой угощающего хор цыган. Он долго вслушивался в их напевы, затем вскочил, сел за фортепиано,—и дикие полуазиатские звуки цыганских песен отлились на клавишах

европейца вместе с блестящими выходками его собственной фантазии.

Герцен.—Это не удивительно. Дикий концерт цыган должен был увлечь Листа. Музыка цыган, их пение не есть просто пение, а драма, в которой солист увлекает хор безгранично и буйно. Вот почему они так хороши в вакханалиях.

Шевырев.—Я все же отдам все его цыганские импровизации за одну увертюру к Дону Джиованни.

Каролина.—О как он чувствует Моцарта!

Чаадаев.—Не, странно ли, господа, Лист любит Моцарта, хотя и он ученик Сальери.

Павлов.—Кто? Лист—ученик Сальери?

Раздаются удивленные голоса: „Какого Сальери? Что вы? Того Сальери?"

Чаадаев.—Да, да, того самого Сальери, которому Пушкин создал у нас такую худую криминальную славу. Вы не верите? Да возьмите сегодняшние *Ведомости*. (*Он берет с письменного стола газету и читает*). „С истинно благородным бескорыстием вызвался быть руководителем его на фортепиано Карл Черни, и тогда уже обремененный уроками; композиции учил Листа Сальери"... Вы видите, какой трагический учитель был у Листа.

Киреевский.—Как странно: Сальери, которого во всяком случае легенда признала убийцей величайшего музыкального гения,—в роли наставника другого, быть может, не менее великого.

Чаадаев.—Да, но вы помните у Пушкина сомнение Сальери в преступности Микель Анджело. Мы можем отнести ее и к самому Сальери. Быть может, и его убийство только сказка

Тупой бессмысленной толпы, и не был
Убийцею учитель Франца Листа...

Шевырев.—Во всяком случае, он сообщил своему ученику свое поразительное трудолюбие. Лист—изумительный работник. За три четыре года он становится неузнаваемым. Когда 1839 году в Риме я впервые наслаждался его игрой, он еще предавался каким-то неистовым порывам. Его

сравнивали с Кассандрою, одержимой духом видений, с бесноватым или просто с демоном, который выражает свои мучения на фортепиано и убивает свой инструмент в порывах ярости...

Каролина.—Мне кажется, это и теперь применимо к его игре. Она до сих пор представляется явлением того демонического начала, которому Гете удивлялся в Паганини и которое ни в одном из свободных искусств не обнаруживается так непосредственно, как в музыке.

Самарин.—Но при этом сколько черт, недостойных истинного гения! Как неприятны его пристрастие к театральности, торжественный выход на эстраду, жест, которым он бросает перчатки капельдинеру, взгляд, которым он обводит слушателей...

Шевырев.—Но это мелочи, не относящиеся к искусству. Лист-художник является нам теперь в совершенном равновесии сил своих. Он уже не задается целью превратить робкое и слабое фортепиано в целый оркестр. Борьба с инструментом кончена, он покорен художнику и полным отголоском отвечает на все вызовы могучей души его.

Павлов.—И он достиг предела своих стремлений: когда Лист выполняет увертюры Фрейшюца и Вильгельма Теля, то слышишь не фортепиано, а целый оркестр.

Погодин.—Однако в спорах о Листе мы забыли о Шатобриане, господа.

Каролина.—Действительно. Александр Иванович, не приступим ли к чтению?

Тургенев.—Охотно, я должен только сделать маленькое предисловие. Вы, вероятно, знаете, господа, что великий Шатобриан ведет свои мемуары уже больше тридцати лет. Но он решил при жизни не издавать их. Мой друг мадам де Рекамье прислала мне драгоценный отрывок из этих исторических дневников, читанный недавно престарелым автором в ее салоне. Этой политической исповедью Шатабриана я и хочу поделиться с вами, господа.

Он вынимает рукопись и устраивается за маленьким столиком. Общество рассаживается вокруг и приготовляется слушать.

Тургенев (*откашлявшись, начинает читать*).—En ро-

litique la chaleur de mes opinions n'a jamais excédé la longueur de mon discours ou de ma brochure; je suis rèpublicain par inclimation, bourbonien par devoir et monarchiste par raison...

Лакей докладывает: господин Франц Лист. Входит Лист.

Каролина (*идет ему навстречу*).—Je suis heureuse, cher maèstro, de pouvoir vous compter parmi mes hôtes.

Лист.—Je suis à mon tour heureux, Madame, de me trouver dans un des plus distingués salons de Moscou [1]).

Лидия Кек. — Как он хорош! В нем есть что-то à la Fradiavolo.

Киреевская. — Как он похож на нашего Гоголя! Ростом, походкой, даже манерами...

Павлов.—Au nom des convives qui se sons reunis ici, je vous remercie, cher maèstro, pour la puissance de votre art, qui a soulevé d'enthousiasme notre vieille Moscou.

Лист.—Je me trouve bien jeune encore dans votre vieille ville, comme vous dites, qui avec la sève éternelle qui est en elle m'a accueillie avec tant de bienveillance. Aussi pour vous prouver ma reconnaissance tout ce qui dépend de moi, soit par le coeur, soit par les mains, je le ferai, croyez le [2]).

Тургенев (*Киреевской*). — Вы правы, он даже прической напоминает Гоголя.

Погодин.—Разве? Кажется, грива его представляет отсутствие всякой прически.

Тургенев.—Вы знаете, искусная куафюра не удается никогда гениальности и несчастию.

Лист. — Je me suis laissé dire que le cercle où j'aurai l'honneur d'être introduit ce soir, est une compagnie de poètes. En ma qualité de musicien je m'en réjouis sincèrement. La parole

---

[1]) Каролина. — Я счастлива, дорогой маэстро, видеть вас среди моих гостей. Лист.—Я, в свою очередь, счастлив, сударыня, быть в одном из просвещеннейших салонов Москвы.

[2]) Павлов. — От имени присутсвующих благодарю вас, дорогой маэстро, за мощь вашего искусства, преисполневшего восхищением нашу старую Москву. Лист.—Я чувствую себя слишком юным в вашем старом, как вы говорите, городе, который с обычным кипением своих жизненных сил принял меня так благосклонно. Чтоб доказать вам свою благодарность, я готов, поверьте, сделать все, что зависит от моего сердца или от моих рук.

chantée a depuis longtemps établi et rendu nécessaire un lien entre la musique et les oeuvres poétiques. Aujourd'hui on tend vers une fusion encore plus complète.

Каролина. — Et quelle est donc la voie qui menera à cette fusion des deux arts?

Лист.—Grâce au programme la musique instrumentale peut acquérir certains aspects semblables à ceux de diverses formes de la poésie. L'allure en pourra devenir celle de l'ode, du dithyrambe, de l'élégie, en un mot de n'importe quelle poèsie lyrique [1]).

Разносят шампанское. Кетчер указывает лакею, в каком порядке следует обнести присутствующих.

Чаадаев (*Тургеневу*). — Как странно, что Павлов не представил Листу своих гостей поименно.

Тургенев.—Он слишком взволнован, чтоб думать об этикете. Посмотрите на него.

Павлов (*с бокалом в руках*). — Au nom des littérateurs et des artistes qui se sont réunis isi je porte ce toast à vous, Franz Liszt! La langue que vous nous avez parlée pendant ces deux semaines a été comprise et sentie par tout le monde. Elle est de tous les peuples et de tous les pays! L'artiste qui en est le possesseur est le citoyen du monde entier. Honneur donc à celui qui a su trouver un principe d'unité quelconque dans un siècle de dissidence d'opinions tellement partagées! Honneur à celui qui a mis d'accord d'une manière aussi belle l'art et la vie.

Лист (*горячо аплодирует Павлову и с благодарностью жмет ему руку. Затем обращается к присутствующим*). — Vous savez, mesdames et messieurs, que la parole n'est pas ma spécialité. Mon domaine c'est le son, chose vague. Mon éloquence est

---

[1]) Лист. — Мне говорили, что общество, в которое я буду иметь честь вступить сегодня, представляет собою кружок поэтов. Как музыкант я этому искренно радуюсь. Слова в песнях давно уже установили и даже сделали необходимой связь между музыкой и поэзией. Наше время стремится к еще более полному слиянию их. Каролина. — А каков путь, который приведет к этому слиянию искусств? Лист.—Благодаря программе, инструментальная музыка сможет получить некоторые черты, напоминающие различные формы поэзии, оду, дифирамб, элегию,—словом, всякий вид лирики.

sur le piano. Permettez moi donc de vous répondre par la voie de cet instrument [1]).

Он подходит к пианино. На мгновение останавливается в задумчивости, рассеянно оглядывает присутствующих, затем быстрым порывом бросается к инструменту и, встряхнув гривой, ударяет размашистым жестом по клавишам. Раздаются звуки „Лесного царя" Шуберта. По мере игры Лист заметно увлекается, забывает о присутствующих, перестает позировать. Бегство испуганного всадника от преследований лесного царя поднимает в струнах бурю гонений и отчаянной скачки от настигающей гибели, а смерть ребенка в заключительных аккордах пьесы вызывает в инструменте протяжный, жалобный и беспомощный стон, не то вздох, не то всхлипывание. Мелодия обрывается, как срезанная. Кажется, по комнате проносится веяние смерти.

Долгое молчание. Лист, словно пробужденный, поднимается и, отбрасывая взмахом головы упавшие на лоб пряди, отходит от пианино. Взрыв аплодисментов и восторженных возгласов.

Павлов (*Шевыреву*). — Голубчик, Степан Петрович, ты не откажешь мне произнесть маленький спич в честь Листа.

Шевырев. — Спич не спич, а слово благодарности — изволь.

Павлов звоном о бокал призывает к вниманию. Шевырев обращается к Листу,

Шевырев.—Nous devons convenir que la parole humaine n'a pas la force sociale que possède la musique, car c'est dans une langue étrangère que nous sommes obligés de rendre hummage á l'artiste qui nous a sybjugué tous par la pussance de son génie. Nous le ferions bien mieux sans doute s'il pouvait comprendre la nôtre.

Лист. — Eh bien! faites le donc dans cette belle langue

---

1) Павлов.—От имени собравшихся здесь писателей и художников я возглашаю этот тост за вас, Франц Лист. Язык, на котором вы говорили с нами в течение двух последних недель, был понят всеми. Он принадлежит всем народам и всем странам. Владеющий им художник—гражданин мира. Воздадим же честь тому, кто сумел найти начало единства в эпоху такого полного разделения мнений. Честь тому, кто сумел так прекрасно сочетать искусство и жизнь. Лист—Вы знаете, мм. гг., что слово не моя специальность. Область моя это звук, вещь неясная. Красноречие мое связано с пианино. Позвольте же мне ответить вам этим инструментом.

russe si sonore et si musicale, et que j'aime tant sans la comprendre.

Шевырев.—En ce cas, maèstro, je profite de votre si gracieuse invitation et continue á développer mes idées dans ma langue maternelle [1]). (*Он обращается к присутствующим*). Рад, что могу высказать во всей полноте волнующие меня чувства. Глубокое значение имеет, господа, искусство Листа в наше время. Все мотивы современной оперы, которая принесла в свою область страстную душу драмы Шекспировой, у него под рукой. Да, художник,—

Твоей гармонии внимая,
Я думал, слушая тебя:
Не отжила любовь земная,
И мир не пережил себя!

Благодарю тебя за это сладкое убеждение! Никогда не забуду твоего вдохновенного лица, когда ты, только что покинув мир своих звуков, стоял еще весь полный ими и яркий отсвет вдохновения белел на утомленных чертах твоих. Да пошлет тебе небо побольше сил, чтоб еще долго мог ты своими звуками будить, трогать и волновать часто засыпающую душу современного человечества.

Лист *(поднимает свой бокал)*.—Je vous prie de vous asseoir, messieurs, c'est á moi de rester debout. Je lève mon verre pour la floraison de l'art dans votre vieille et pieuse Moscou. [2])

Аплодисменты; все наперерыв окружают Листа, каждый старается чокнуться с ним, все выражают свою благодарность и восхищение. В стороне маленькая группа: Чаадаев, Хомяков, Герцен.

---

[1]) Шевырев.—Мы должны признать, что человеческое слово не обладает социальной силой музыки, ибо мы вынуждены на чужом языке воздать хвалу художнику, пленившему всех нас мощью своего гения. Мы без сомнения сделали бы это гораздо лучше, если бы он мог понять наш язык. Лист.—О, продолжайте на вашем прекрасном русском языке, который я так люблю за его певучесть и музыкальность, даже не понимая его. Шевырев.—В таком случае, маэстро, я пользуюсь вашим любезным согласием и продолжаю развитие моих мыслей на моем родном языке.

[2]) Лист.—Прошу вас сесть, господа, мне надлежит теперь стоять перед вами. Я поднимаю мой бокал за процветание искусства в вашей древней и благочестивой Москве.

Хомяков *(указывая Герцену на группу столпившихся вокруг Листа)*.—Заговорите о чем-нибудь со мной, Александр Иванович, чтоб Лист не думал, что у нас нет других тем, кроме его музыки.

Герцен *(смеясь)*. — Какое полное отсутствие чувства меры! Какой детский восторг от каждого слова европейского гения!

Чаадаев. — И как в этом сказывается молодость нашего общества!

Павлов. — Ne voudriez-vous pas, maèstro, puisque vous vous trouvez au milieu d'artistes, les initier aux mystères de? votre art? Ne nous diriez vous pas comment vous envisagez la mission de l'artiste.

Лист. — Envisager l'art, non comme un prompt moyen d'arriver à d'égoistes jouissances, à une stérile célébrité, mais comme une force sympathique qui rapproche et unit les hommes; telle est la táche que devrait s'imposer l'artiste.

Каролина. — Ainsi vous croyez que l'union des hommes peut être réalisée au moyen d'oeuvres artistiques?

Лист.—Sans s'exagérer outre mésure l'importance de l'artiste sans proclamer en termes pompeux, comme on l'a trop fait peut être, sa mission et son apostolat, croyons que lui aussi a sa place marquée dans les décrets providentiels et qu'il lui est donné de coopérer pour sa part á une oeuvre durable et moralisatrice.

Тургенев. — Comment faut-il donc qu'il agisse? Quelle est sa mission dans l'avenir?

Лист.—Que l'artiste de l'avenir renonce á ce rôle égoiste et vain de faire la chasse au succèes, que la virtuosité lui soit un moyen et non un but et qu'il se souvienne tonjours qu'ainsi que noblesse et plus que noblesse, sans doute, génie oblige.

Он встает.

Каролина. — Quand aura lieu votre prochain concert, maèstro?

Лист. — Après-demain dans la matinée je prend part au concert du chanteur italien Ciabata.

Каролина.—Combien je vous envie, maèstro! Toute votre vie se passe dans le royaume des sons!

Лист. — Notre vie est elle autre chose, madame, qu une série de préludes á ce chant inconnu dont la mort entonne la première et solenelle note? [1])

Он кланяется и уходит. Павлов провожает его.

Тургенев.—Вот истинный гений милостью Божией...

Грановский. — Слушая Тальберга, говорили: у него есть третья рука. Но у Листа каждый палец—рука!

Тургенев. — Вы знаете, я люблю музыку. Я слышал Мошелеса, Гуммеля, Тальберга, Дрейшока, выше всех ставлю всегда Фильда, но Лист превзошел их всех.

Погодин.—Он действительно мастерски одолевает величайшие трудности.

Каролина.—Да где ж для него трудости? Он не одолевает ничего, поверьте, он сам одолен таинственною силою демонизма, которая увлекает и душу, и весь телесный состав его и разливается из-под его рук радужными струями звуков.

Киреевская (*Самарину*). — Надеюсь, вы переменили ваше мнение, Юрий Федорович?

Самарин.—Не совсем. В сыгранной балладе Лист выразил более эпический, нежели драматический элемент пьесы, тогда как последний справедливо может назваться преобладающим, это настоящий ее нерв. Вспомните хотя бы у Жуковского:

Ездок оробелый не скачет, летит,
Младенец тоскует, младенец кричит;
Ездок погоняет, ездок доскакал...

Я не чувствовал этого безумного, охваченного ужасом, полета в виртуозных фиоритурах Листа.

---

1) Павлов.—Не согласитесь ли вы, маэстро, находясь здесь, в среде артистов, посвятить их в тайны вашего искусства? Не сообщите ли вы нам, как вы смотрите на задачу художника? Лист.—Видеть в искусстве не быстрое средство к достижению эгоистических наслаждений или бесполезной известности, но симпатическую силу, сближающую и соединяющую людей,—такова задача художника нашего времени. Каролина. —Вы стало быть верите, что единение людей может осуществиться и через художественное

Каролина (*Герцену*).— Вы, кажется, согласны с этим мнением, Александр Иванович?

Герцен.—О нет, Лист—поразительный талант. Невольно навертываются слезы, когда слушаешь его...

Павлов (*возвращается, проводив Листа*). — Господа, мы решили чем-нибудь отблагодарить гениального музыканта, поразившего нас своим искусством. Мы устраиваем обед по подписке. Просим желающих принять участие в этом чествовании подписаться на этом листе. (*Подходит к Погодину*). Можно начать с вас, Михаил Петрович?

Погодин.—А во сколько обходится участие в обеде?

Павлов.—А 60 roubles par personne.

Погодин.—Я не хочу надевать на себя личины мелomана с прочими. Отказываюсь.

Павлов (*Шевыреву*).—А вы, Степан Петрович?

Шевырев. — Конечно, принимаю участие. (*Подписывается*).

Павлов.—И наверное оживите трапезу новым спичем.

Павлов обходит общество с подписным листом и приглашает гостей к письменному столу расписаться.

Каролина.—А теперь вернемся к Шатобриану. (*Тургеневу*). Не правда ли, Александр Иванович?

творчество? Лист. — Не преувеличивая свыше меры значение художника, не провозглашая громогласно, как это слишком часто делали до сих пор, его миссию и его служение, будем верить, что и он имеет отведенное ему место в предначертаниях Проведения и что ему дано содействовать по мере сил долговечному и человечески значительному созданию. Тургенев.— Но как он должен действовать? Каково его призвание в будущем? Лист.— Пусть художник будущего откажется от себялюбивой и суетной погони за успехом, пусть виртуозность будет ему средством, а не целью и пусть он помнит всегда, что, конечно, не менее, чем благородное происхождение, гений, обязывает. Каролина.—Когда ваш ближайший концерт, маэстро? Лист. — Послезавтра утром я принимаю участие в концерте итальянского певца Чиабаты. Каролина. — Как я завидую вам, маэстро! Вся ваша жизнь проходит в царстве звуков. Лист. — Разве вся наша жизнь не представляет собою ряда прелюдий к тому безвестному пению, к которому смерть заиевает первую торжественную ноту?

Тургенев. — О, нет, после Шуберта в исполнении Листа слишком слабым покажется Шатобриан в исполнении Тургенева. Да и поздно. (*К племяннице*) Lydie, rentrons. (*Они прощаются и уезжают*).

Чаадаев.—Да и мне пора.

Каролина. — Но, господа, мы не закончили нашего спора о Листе.

Тургенев. — Мы продолжим его в пятницу у Свербеевых.

Шевырев.—Или в воскресенье у Елагиных.

Чаадаев.—Или в понедельник у меня.

Хомяков. — Или же, наконец, в лучший день всей недели.

Киреевский.—Это какой же?

Хомяков. — Конечно, вторник у Каролины Павловой.

Часть общества прощается и уезжает.

Павлов (*Грановскому*).—Надеюсь, Тимофей Николаевич, вы присоединитесь к нам. (*Указывает на Погодина и Кетчера*). Мы составляем партию в преферанс.

Грановский.—Хотя отец мой завещал мне не прикасаться к картам,—иногда, я нарушаю этот запрет.

(Павлов, Грановский, Погодин и Кетчер уходят в кабинет).

Герцен.—От души благодарю вас, Каролина Карловна, за сегодняшний вечер. Он напомнил мне времена, когда Вольтер царил над парижскими салонами и на споры Дидро звали, как на стерлядь.

Каролина. — Мне нужно благодарить вас, Александр Иванович, как главного матадора нашей боевой арены. Вы сражаетесь бесподобно.

Герцен.—Неудивительно. Я родился в восемьсот двенадцатом: душа наследовала что-то и от бури, и от пожара, и от крови.

Каролина. — Вы прекрасно говорили сегодня о столкновении классиков с романтиками. Вероятно вы готовите для *Отечественных Записок* новую статью о романтизме?

Герцен.—Нет, я занят совершенно иной работой.

Каролина.—По естествознанию?

Герцен.—Нет, я пишу повесть.

Каролина.—Повесть? Вы оставили науку для поэзии? Каким образом?

Герцен.—Я хочу этой повестью смягчить одно укоряющее воспоминание, примириться с собой и забросать цветами один женский образ, чтоб на нем не было видно слез. *(Прощается и уходит. Каролина провожает его).*

Из кабинета голос Павлова: „Евгения Александровна, распорядитесь, чтоб нам подали сюда чаю". Он появляется в дверях.

Павлов.—Дженни, у Михаила Павловича сильнейшая жажда... Вы здесь одне.

Дженни. — Бога ради, Николай... Каролина сейчас вернется...

Павлов.—О, не все ли равно? Ты забыла вчерашнее: страсти сильнее рассудка! Я не отпущу тебя, пока... *(Он обнимает ее. Дженни в ужасе смотрит на входную дверь. Каролина появляется в дверях и беззвучно прислоняется к стене, Дженни убегает).*

Павлов *(маскируя развязностью смущение).* — Я прошу вас об одном: после! *(Указывает на кабинет).* Тут еще сидят гости. Вы не станете мне при посторонних устраивать сцены ревности?

Каролина.—Я вас вообще могу избавить от них. Раз даже присутствие посторонних не препятствует вашим любовным сценам, что помогут слова?

Павлов.—Вы хотите меня казнить своим смирением и покорностью? Я этим уже неуязвим.

Каролина. — Чем я заслужила такое озлобление? Почему для вас стало высшей радостью видеть меня в слезах?

Павлов. — Какие слезы! Женщины плачут обо всем, когда им хочется плакать о чем-нибудь.

Каролина.—Откуда эта жестокость? При всей тревоге, которую вы мне внушали с первых же дней, я не переставала верить в ваше великодушие...

Павлов. — Я вам внушал тревогу? Чем? Воспитанник графа Зубова и муж княгини Касаткиной, кажется, не разбойник.

Каролина. — Ах, Николай, разве так можно рассуждать! Вы знаете, однажды в Трианоне, в уединенной аллее, Мария Антуанетта встретилась с одним из своих будущих судей. И хотя он прошел стороною, был прекрасно одет и держал себя безупречно, королеве стало невыносимо страшно... Так было и со мной при нашей первой встрече.

Павлов.—О, если бы вы научились жить без исторических анекдотов! Если бы вы не заменяли страсти цитатами... Послушайте, Каролина, вот вам маленькая исповедь. Когда я вторично женился, я искал только тихой пристани и счастия в уголке. Деятельность, труд, познание, слава — я все это изведал и во всем изверился; мне казалось, что вера в свой угол и в свою жену уничтожит все, чему я верил ошибкой...

Каролина. — Да разве я не пожертвовала всем для новой жизни? Разве я не готова бы отказаться для вас от игры звуков, рифм и слов? Вы не захотели этих жертв и не сумели дать мне ответного чувства...

Павлов.—Вы до сих пор живете призраками. Письмо Гумбольдта для вас дороже вашего ребенка. Вы утратили способности привязываться к людям, прощая им их заблуждения и грехи. Бесплодными мечтами вы задушили этот прекраснейший женский дар участия и нежности, а он, поверьте, несравненно лучше и женских стихов и женской прозы.

Каролина. — Во всяком случае, одного я не утратила: способность чувствовать оскорбления и страдать от несправедливости.

Павлов.—Вы не хотите меня понять. Во всяком случае, теперь не время объясняться. Мы это отложим на завтра, не правда ли?

(Он уходит в кабинет).

Каролина *(подходит к балкону и смотрит на бледнеющее небо)*.—„Просонки дремлющей природы: уже не ночь, еще не день“... Как тихо в эти предутренние часы. Кажется, слы-

шишь, как уплывает жизнь, как чувства вянут в нас незримо, и слезы сохнут, как роса. *(Она отходит от балкона. Замечает на письменном столе альбом, оставленный Тургеневым, раскрывает и задумчиво перелистывает его. Останавливается на одной странице и медленно читает:)* Przed wichrami i szonem gdy przelotne ptaki... *(Она опускает альбом).* Единственный счастливый день в целой жизни... Невеста Мицкевича! Какая гордость, какая возможность счастья, какое будущее... Кажется, один такой день способен превратить мечтательницу в поэтессу. А затем—разлука, годы томительного ожидания и, наконец, эта свадьба с другим среди ненужного шума поздравлений и приветствий... Ах, этот радостный шум вокруг невест похож на барабанный бой, с которым ведут солдат на смертную битву. *(Она вынимает из письменного стола портрет и долго всматривается в него).*

К тебе теперь я думу обращаю
Безгрешную, хоть грустную,—к тебе,
Несусь душой к далекому мне краю
И к отчужденной мне давно судьбе.
Кто вас достиг, о, светлые виденья,
О, гордые взыскательные сны?
Кто удержал минуту вдохновенья
И луч зари и ток морской волны?..

Обман, везде обман! Сладость надежд и невыносимая боль пробуждений... Какой смысл в этом, какая цель? Всегда смиряться, всегда итти в пустыню, к свершению напрасного труда, к новым несбыточным надеждам, к новым обидам и болям. Жить мечтой о едином далеком и постоянно испытывать на себе оскорбительную ложь повседневного, внимать пению крылатых психей и в шуме ненужных споров хранить воспоминание об одиноком рыцаре-изгнаннике... О, Господи, за что Ты осудил меня на пытку этой двойной жизни?..

Она беспомощно опускает руку с портретом Мицкевича. Бронзовые часы башенным звоном мерно и гулко ударяют четыре раза. На стекле оконных ширм бледными красками проступают узоры.